



ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД

Посвящение ангелам Новороссии

Всё время, пока шла траурная церемония возложения венков, цветов и детских игрушек, а затем утешительных — насколько это было возможным — речей представителей администрации, клятвенно обещающих, что нелюди обязательно за всё ответят, что дело только во времени, и потом, после того, как все разошлись, он — рослый, сутулый мужчина в годах — в одиночестве стоял в стороне от людской толпы напротив мемориальной плиты.

В то утро плакали не только люди, рыдала и природа, будто чувствовала витающее над парком горе скорбящих. В первый летний день моросил дождик, прохладный и колючий. Мужчина был без зонта и головного убора. Он стоял, втянув голову в плечи, отчего выглядел сутулым, а руки держал в карманах потёртой куртки камуфлированной расцветки. По слипшимся от сырости седым волосам за шиворот ему тонкими струйками стекала дождевая вода.

Может, я и не обратил бы внимания на этого убитого горем мужчину. Но он не ушёл, как все, с Аллеи Ангелов в парке Победы после завершения траурного митинга. Да и пришёл сюда, как оказалось, задолго до начала мероприятия. Мужчина не присоединился к толпе, а держался особняком: стоял спиной ко всем у основания мемориальной плиты, заставленной в несколько рядов игрушками и букетами, между которыми он поставил принесённый с собой трёхколёсный детский велосипед. Я всё время невольно бросал взгляд в его сторону.

Парк быстро опустел — усиливающийся дождь разогнал людей. Мягкие игрушки намокли: под тяжестью воды плюшевые зверята согнулись и поникли головками. Металлическая арка из переплетающихся роз и пулемётных лент, обрамляющая плиту с высеченными на ней фамилиями, именами и возрастом погибших детей плакала тоже: с неё тонкими нитями стекали струйки дождя...

Он даже не шевельнулся, когда я встал рядом. Напротив меня в букет свежих цветов была вложена фотография. Со снимка на наш мир смотрел, улыбаясь во весь рот, мальчишка — задорный, с голубыми и слегка раскосыми глазами. Под фотографией чернели две даты: рождения и смерти мальчика. Дефис несопоставимо обозначал отрезок времени в 10 лет.

Нельзя человеку так мало жить. Мальчик погиб во время артобстрела украинскими военными. Трагическая новость о гибели маленького героя недавно облетела весь регион. Страна узнала ещё об одном детском подвиге. Мальчик заслонил собою младшую сестрёнку и погиб. Девочка, к счастью, выжила, получив незначительные ранения.

«По ком скорбит этот мужчина?» — гадал я, глядя на высеченный в граните список из полтора ста имён мальчиков и девочек. Потом взгляд мой упал на велосипед:

он был здесь единственной не мягкой игрушкой — старый, с облупившейся голубой краской и проржавелой рамой и погнутым рулём.

— Кто — ваш? — осмелился спросить я.

Он назвал фамилию. Я пробежался взглядом по списку и нашёл имя мальчика шести лет.

— Внук? — решил я уточнить, хотя был уверен, судя по внешнему виду мужика, кем по родству, ему приходится мальчик.

— Сын, — глухо ответил мужчина, и повторил ещё раз: — Сын.

Ответ обескуражил. От волнения я сглотнул и ещё раз посмотрел на него... Вы когда-нибудь видели молодых стариков? Нет, не тех, шестидесятилетних, спортивных и бодрых, которые выглядят на пятьдесят, а то и на все сорок, потому что следят за собой и ведут здоровый образ жизни. А на тридцатилетних парней, вернувшихся из горячих точек, которым злодейка-судьба изуродовала не только душу, но и внешность. Сердца их мучаются от нестерпимой боли, которая никакими препаратами не заглушается. Есть только одно лекарство, но и оно временное — это сладкий нектар отмщения.

У парня была неухоженная, седая борода, глубокие морщины, сухая и помятая, как бумага, пожелтевшая кожа. Все печали и горести, все гадости и несчастья, что случились в течение его жизни, разом отпечатались на лице преждевременно состарившегося молодого человека. Я отвёл глаза и прошептал: «Простите...»

Мы долго стояли молча. Но и безмолвие тяготило. Неожиданный порыв немедленно уйти, чтобы не мешать, я тут же погасил, ибо и это выглядело бы хреново с моей стороны.

— Как тебя зовут? — спросил я и назвал своё имя.

— Семён, — представился он.

— Как это произошло?

Семён посмотрел на меня, и от его сухого и безжизненного взгляда, мне снова стало нехорошо; никогда раньше я не видел у человека таких пустых и мёртвых глаз; люди с такими глазами не боятся смерти; они уже ничего в этой жизни не боятся.

— Зачем? — спросил он.

— Пропитаться хочу, — процедил я сквозь зубы. — Ненавистью хочу пропитаться к сволочам. Чтоб не раздобреть...

Его взгляд изменился. Теперь он посмотрел на меня, как на наивного ребёнка, даже ухмыльнулся, потом отвернулся, нахмурил брови. Я решил было, что разговор не получится. Но спустя минуту он заговорил. Заговорил так, что я понял, что и ему необходимо чьё-то присутствие рядом — может быть, не только сейчас, в сию минуту...

— Из области я, из Волновахи. В Донецке оказался в пятнадцатом, через год после майдана. Ну, оказался — это легко сказано. Пришлось бежать из родного города, как только его айдаровцы да азовцы под свой контроль прибрали: поставленный ими мэр гитлеровские кресты на своём мундире носит, а руки его по локоть фашистскими знаками проколоты. А когда он священников из церквей повыгонял, вместо служб иноземные оргии да обряды устроил, стало окончательно ясно, куда ридна Украина катится. Не-е, думаю, это не для меня, уж простите-подвиньтесь. Не за этих же мудаков мой дед немца-то бил на Курской дуге, и в сорок третьем году жизнь там свою положил? А тут предлагают и уговаривают в своих стрелять?

Раньше-то я ни в какую политику не лез, жил на автомате. Призвали в армию, ну, и пошёл, ничего не подозревая, как всякий мобилизованный. Но вместо оружия нам кирку да лопату выдали и отправили под Донецк траншеи, окопы и всякие муравьиные ходы в землю рыть. В общем, под Авдеевкой, на линии соприкосновения, как её тогда культурно называли, сооружал вместе с сослуживцами укрепрайоны. Расквартированы мы были в Авдеевке. Оттуда каждый день нас на работы грузовиками возили. Вот и вся служба: лопата

в руки — и копай, браток! А тем временем киевские гниды отдавали приказы бомбить Донецк. Мы копаем, а снаряды так и свистят над головами. Позади, за спиной пальнёт — впереди громыхает. Что ж это, думаю, творится такое? Мы против своих воюем, брат брата убивает? И почему я здесь, если по ту сторону огня земляки мои, жинка моя с двухлетним сыном, родители, родня, а в Донецке сёстры да братья? Не-е-е, так не пойдёт, думаю.

Среди нас некоторые хлопцы голосистые были, много чего лишнего балакали про политику, всякие разные свои сомнения высказывали по поводу происходящего здесь, в Киеве да в Крыму. Командованию подобные мнения не нравились — наики правдолюбцев не жаловали. Дюже разговорчивых бойцов тут же снимали с работ и куда-то увозили под различными предлогами — больше мы их не видели и о них ничего не слышали.

Как-то раз, во время перекура, сидя в блиндаже, эта мысль и пришла мне в голову, прилипла, как оса на компоте. Той же ночью твёрдо решил: сбегу я отсюда, к чёртовой матери, пока не поздно.

На следующее утро позвонил своей, сказал: так, мол, и так, дорогая, собирай-ка шмотки, бери дитя и тикай в Донецк к сестре, там меня и жди. Вкратце рассказал, что разумнее держаться донецкой власти. Она и сама всё понимала, баба не глупая, уже на следующий день пообещала перебралась в Донецк, благо тогда ещё пропускной режим не такой жёсткий был, и люди могли ездить туда-сюда почти беспрепятственно. Стал и я собирать манатки. На связь была ужасная, и я не смог дозвониться до сестры в Донецк, чтобы узнать, как мои добрались.

Сам утёк следующим днём во время обеда. Пошёл якобы по нужде за кусты близ лесочка, а там внаглую, пешочком, не спеша так, соснами, соснами, да и пересёк тихонько линию фронта. В пятнадцатом у них слабый контроль был за нами: доверяли ещё, верили, что мы за бандеровскую власть будем задницы рвать. Короче, пересёк я линию соприкосновения ночью, а к утру был в Донецке. В городе никто на меня не обратил внимания: я же форму-то нацистскую скинул — по дороге, в одном хуторе, с которого ушли жители, во дворе нашёл одежду по размеру, она на верёвке сушилась, и переоделся.

Подхожу к дому сестры, она в Кировском районе жила, вижу, а пятиэтажка вся в дырах, окна без стёкол, видать, расстреливали хрущёвку, и не раз. Понятно стало, что в нём вряд ли кто живёт из-за постоянных бомбёжек. Пошёл подвал искать. Там среди спрятавшихся и нашёл своих...

Он замолчал, стал тереть друг о друга ладони, прикусил нижнюю губу — то ли сдерживая ярость, то ли плач. Потом потряс головой, сглотнул и продолжил:

— Вернее, сынишка меня первым увидел. Мне ж с дневного света в полутьме непривычно было, не мог различить, где чьи лица, а он, как котёнок, сразу узнал. Бежит, кричит из темноты, радуется: «Батька! Батька! Ты приехал!» Вскочил мне на руки, обнял за шею и не отпускает, зажал горло, аж дышать не могу. Сам-то радуюсь, плачу, не разжимаю его ручонки, вытерплю, лишь бы в безопасности находился малой и в полном здравии. Обнимаюсь с ним, а сам рыщу глазами по темноте, жинку ищу, вот-вот, ожидаю, появится. Поставил малого на пол, хочу о матери спросить, а сам боюсь. Оглядываюсь вокруг, среди незнакомых лиц ищу Машкино, да не вижу. А потом думаю: пацан сразу бы позвал её, как только увидел меня. Значит, нет её в подвале. К тому же малец почему-то молчал. Тут-то и закралось в сердце первая тревога, присел я на корточки, обхватил голову руками, ну, и чуть не пустил горькую, как говорится, слезу. Сын обнял меня, думая, что плачу я от радости, что нашёл его, — и давай сам плакать. А потом подошла сестра и всё рассказала. «Не доехала, — говорит, — твоя Маша. На блокпосте под Еленовкой наики их остановили, досмотр делали. Вместе с ней в машине ещё кто-то ехал. Тех попутчиков отпустили, а её увели с собой. Успела только адрес шофёру назвать, чтоб малого отвёз».

Что с ней стало, одному Богу известно. Красивая она у меня... Приглянулась, видать, её коса подонкам. В беде моя Машка, ох, нутром чую, в беде. Хорошо, если жива. Мою одноклассницу вон, Таньку Коваленчиху, азовцы типа в плен забрали, сказали, что она русская шпионка, и увезли. Год мучали, а потом солдатам на потеху отдали, из роты в роту по окопам... Не выдержала девка, повесилась в лесополосе. Нашли её спустя полгода, когда от нациков освободили район. А что с моею — и думать не хочу. Пусть в плену, пусть хоть рабыней — лишь бы жива была, только б не убили, гниды. Одна надежда: кончится война, даст Господь, Машка моя и отыщется.

Малому мы сказали, что мамка на боевом задании, и скоро приедет. С этим мальчишка и жил, и, разумеется, не переживал так, как я. Тем временем я устроился на шахту. Поначалу, пока в забое был, за малым сестра присматривала. Но в позапрошлом году она подорвалась на «Лепестках», сброшенных взэсушниками, и померла от ранений. Стали за пацаном люди добрые смотреть.

Он толком детства-то не видал, радости семейной не испытывал. Детворе мы приносили уцелевшие игрушки, которые находили в разрушенных домах. Смотрел я на всё это, на жизнь такую нашу, и кровью сердце обливалось...

Семён вздохнул, ткнул носком ботинка в заднее колесо велосипеда:

— Многие дети на велосипеде ни разу в жизни не катались, только на картинке бачили, или когда кто мимо проедет. Да и где кататься-то, в подвале, что ли? На улице, под обстрелами, дюже не накатаешься. А чтоб зря не дразнить детвору, мы не приносили им ни самокаты, ни велосипеды. А мой постоянно просил велик: мечта номер один у него была. Говорю ему, война, мол, закончится, куплю, тогда и накатаешься вдоволь. А он всё просит и просит.

— А вдруг не закончится, или я на mine подорвусь?

— Не болтай ерунду! — А самого страх за него пробирает.

Дурак я, что всё ещё терпимо относился к разразившейся войне, надеясь то ли на Минские соглашения, то ли на то, что президенты договорятся! Продолжал работать, спускаться в забой, добывая уголь для родной республики. И как-то вечером, возвращаясь после смены, вот этот самый велик и нашёл в гряде мусора на соседней улице. Принёс, отдал малому. Он от счастья засиял весь. Но в тот вечер удалось ему только на сидушке посидеть. Завтра, говорю ему, если налётов не будет, разрешу на улице покататься. Так и уснул он, обнявшись с подарком.

Утром мы с мужиками, как обычно, вышли из подвала, прислушались: вроде тихо, взрывов не слышно. Женщины разошлись кто куда: одни на рынок за едой — туда съезжались машины с благотворительной помощью из России, другие с ведрами и баклажками за питьевой водой, ну а мы, мужики, за топливом — за дровами. Варить-то еду на чём-то надобно — готовили на костре. Чего-чего, а дров в городе хватало: и поваленные взрывной волной деревья распиливали, и в разрушенных зданиях разбирали мебель, оконные рамы да паркет. Днём, когда покидали подвал, снаружи обязательно оставляли дежурить пару взрослых: от мародёров там всяких, а заодно и за детишками присмотреть. Если не было прилётов, детей выводили на прогулку, чтоб они хоть солнечный свет увидели да глоток воздуха свежего вдохнули. Пусть на десять минут, да хоть на минуту, но прогулка — закон.

В то утро, после того как мы ушли за дровами, детей, как обычно, вывели на улицу. Мой как раз собирался обкатать свою технику.

В километре от нашего дома на днях после обстрела была разрушена пятиэтажка. Туда мы и направились утром. Только начали разбирать заваленный кирпичами вход в подъезд, как начался обстрел. Мы схватили по охапке деревьев, что оказались под рукой, и — бегом обратно. Ещё издали увидели, как один из снарядов попал

в соседней с нашим подвалом дом. Следом прилетел второй — уже по крыше нашего. Тут я всерьёз испугался, понимая, что сынок вместе с другими детьми на улице играет. Выбросил к чёрту доски, и рванул к подвалу...

Подбегаю, вижу, перед нашим подъездом бабы и мужики столпились спинами ко мне, на что-то смотрят. А потом раздался женский плач... Даже не плач, а рёв звериный. Тут-то и меня пробило: неужели? Люди, увидев меня, начали раздвигаться, коридор делать, чтоб я по нему прошёл. И все молча смотрят на меня — такие глаза бывают у людей на кладбище во время похорон...

Я молил Бога, я просил его... Подхожу, вижу — а мой лежит в луже крови, таращится на меня глазёнками, тужится, кашляет, харкает кровью и что-то сказать хочет. Опускаю глаза, а у него ноженек-то нету — оторвало! Бросился к мальцу, пытаюсь нащупать место, где можно артерию передавить, чтобы кровь остановить, а сам во-круг рыщу глазами, ножки ищу, чтобы хирурги их на место пришили — слышал, врачи умеют пришивать конечности, если их сохранить как надо, во льду. А ножек-то нигде и нет — испарились. И кровь хлещет! А сынишка тужится, кряхтит, пытается на локти подняться. Вроде получилось, чуть привстал он и смотрит удивлёнными глазками сначала на пустое место, там, где должны быть ноги, а потом на меня, и спрашивает, как ни в чём не бывало: «Папка, а как же я теперь на велосипеде кататься буду...» — потом опрокидывается навзничь, вверх лицом, светлыми глазками в небо...

Долго ещё, как потом рассказывали, звал я на помощь врачей, просил людей найти ножки сыночка моего...

Семён замолчал, скривился от боли, посмотрел на велосипед.

— А велосипед только погнулся. Когда начался обстрел, детей стали загонять в подвал. Мой не бросил велик, вместе с ним побежал. Потому и отстал, и спрятаться не успел...

Не нашёл я тогда слов утешения Семёну. Словами горю не поможешь. Мне, гражданину России, до сих пор стыдно, что не сумела наша страна вовремя помочь народу Донбасса — в 2008-м, в 2014-м. Возникло жгучее желание извиниться перед Семёном, и я повернулся было к нему, уже готовый произнести слова прощения, но неожиданно передумал и сжал зубы, чтобы не проронить ни звука. Нет, не словами надо просить прощения за погребённых детишек — делом надо. И сегодня не поздно делать то, что необходимо делать каждому мужику...

Семён долго смотрел на велосипед, а потом вроде как опомнился, вскинул левую руку, оголив запястье, посмотрел на часы и уверенным, даже бодрым голосом сказал:

— Мне пора.

— Простите, а вы куда сейчас? — Мне не хотелось навсегда прощаться с ним.

— На Карпаты! — радостно ответил он, да я и сам воспринял это, как шутку. — Пока не очищу всю Украину от мрази. — И тут я понял, что он говорит серьёзно. С упоением в голосе и восторгом в глазах, чтобы не оставалось сомнений — он, человек, воин, и правда дойдёт до конца, до Победы. — Я ж, как сына похоронил, неделю в подвале горе горилкой заливал. Но взял себя в руки, ушёл добровольцем. Моя часть неподалёку тут. Каждую увольнительную прихожу сюда, к сыну.

— Какой номер твоей части?

— Не, на днях уеду. Напросился на фронт. Не будет меня здесь.

— Куда на фронт?

— На передовую, под Горловку. Теперь моя жизнь на войне, там мой дом. Пока последний фашист не сдохнет. Бывай! Даст бог, повстречаемся.

Он неторопливо пошёл по аллее к выходу из парка.

